

Скверный город! Холодно, сыро, до костей пробирает мороз, а уж мостовые — прямое убийство: щербатые, скользкие, подметки горят. И так осталась на троих одна-единственная пара опорок, и та дышит на ладан.

Она с наслаждением разогнулась, вытерла с лица черный жирный пот, машинально отрянула ладони, невольно рассмеялась — глупая. Эту угольную пыль и мылом не выведешь, только если с наждаком.

Кругом пыль, грязь. Как же так все получилось? Ведь полугодом не прошло, как текла совершенно иная жизнь — спокойная, красивая. Она наконец-то защитила кандидатскую, свершился первый в ее жизни образцово-показательный выпуск учеников, блестяще доказавший на практике эффективность ее подхода к детям, построенного на единственно верной форме индивидуального воздействия на воспитуемого — беседа с ним.

Ребята получились великолепные, восприимчивые, их не надо было тянуть на аркане к знаниям. Она умела создать в процессе обучения атмосферу светлой, радостной, волнующей тайны, стремясь

узнать которую, ребята легко, играючи одолевали любые высоты в знаниях. Пять круглых отличников! Пять!

Она в легком строгом платье, пошитом на заказ, в туфельках, такая вся молоденькая, казалась не старше выпускниц, горделиво сияя, принимает заслуженные поздравления. Все тогда было по-иному: притихшие пустые классы с распахнутыми окнами, сирень бушует, залиты светом школьные дворы, и букеты, букеты, букеты! А сколько угощений, сколько еды. Какими они были тогда расточительными, когда было что расточать. Сверкающей и легкой была жизнь, как золотистые пылинки в солнечных лучах, а впереди — только долгие, счастливые три месяца отпуска.

Мужа ожидал перевод в Ленинград, на новый, перспективный участок государственного значения — поступили новые экспериментальные образцы картофеля, который, как полагали, можно «приучить» расти и обильно плодоносить при экстремально низких температурах и скудном освещении.

И в преддверии серьезной, напряженной работы супругу с семейством выделили драгоценную путевку. Правда, по окончании отпуска придется покинуть родную столицу. Было немного жаль, но и Ленинград ничуть не хуже. К тому же это будет потом, в сентябре. А пока ничего впереди не омрачает горизонты. Дети — старшая Идочка, младший

Сима, — впервые увидев теплое, огромное вздымающееся море, были в восторге. Ни родная Яуза, ни Сокольнические пруды ни в какое сравнение не идут. Идочка, правда, сначала немного побаивалась моря, беспокоясь о том, что не видно другого берега. Однако, очень скоро выяснив, что тут проще плавать, чем в Оленьих прудах, так же, как и брат, уже не вылезала из воды. Папа шутил, что у них вот-вот прорежутся жабры.

И как гром среди ясного неба — эта телеграмма. Срочный вызов в Ленинград.

Муж быстро собрался, поцеловал, на все вопросы отшутился, пообещал с улыбкой, что скоро все «устроится», и уже строго-настрого предписал не волноваться. Таким он навсегда остался в памяти: высокий, большерукий, большеногий, с такими искрящимися, хулиганскими синими глазами.

Где же он теперь? Жив ли? Как же не хватает его уверенности, спокойствия... Эгоизм, конечно, с ее стороны, но она так привыкла к тому, что он всегда рядом с ней, что он старше и умнее ее, что он всем всегда доволен. Он неизменно призывал никогда не задумываться над тем, что же случится завтра. «Живи по писаному, — смеялся супруг, — будет день, и будет пища».

Знакомые шутили, что они друг друга дополняют. Она всегда хлопотала, во всем находила повод для беспокойства и готовилась к худшему. Даже уходя гулять по любимым Сокольникам, хлеба

с собой набирала, как в тайгу, — так уж привыкла с детства.

Оказалось, что ни она, никто иной не был готов к тому, что в разгар легкой, яркой жизни начнется война, померкнет мирное небо, и его будут рвать огненные всполохи. И всем, даже ей, сильфиде¹ бесплотной, придется браться за лопаты, и вместе с целой толпой незнакомых людей, со всем городом, рыть траншеи, возводить какие-то варварские ловушки, точно на мамонтов.

Спина ныла, нежные руки немедленно стерлись, мозоли с великой скоростью набухли, тотчас порвались, загрязнились — в первый вечер она с ужасом рассматривала свои ладони, чужие, страшные, с чернущей кромкой под обломанными ногтями. Во второй вечер уже стало не до того, на третий — не было времени ужасаться.

Из Москвы — ни весточки. От мужа — ни слова.

Дети, воспитанные, не выказывая ни тени испуга, сидя на чужой кровати, никаких вопросов не задавали, но было видно, как ужасно они боятся. Вставать лишний раз не решались с кроватей, вздрагивали и тряслись, прислушиваясь к пока еще далеким взрывам.

¹ Сильфиды -ы; ж. [*франц. sylphide*]. Традиц.-поэт. В кельтской и германской мифологии, в средневековом фольклоре многих европейских народов: бесплотное существо в образе женщины, олицетворяющее стихию воздуха.

К чести администрации, из санатория никто никого не гнал, только когда усилился гул в небе, старый главврач мимоходом заметил, что скоро, должно быть, койки понадобятся.

И все равно все еще казалось дурной шуткой, ночным кошмаром, от которого очень просто очнуться, стоит захотеть.

Взрослые с утра и дотемна рыли траншеи — с остервенением, старясь тяжелым трудом прогнать из головы дурные мысли. Удивительно, но вскоре она, рафинированная интеллигентка, весьма ловко наострилась орудовать лопатой, да так, что все удивлялись: как, вы из Москвы? Педагог? А она работала, работала... тяжелый труд породил безумную надежду на то, что чем лучше работа будет сделана, тем быстрее «все окончится». Однако все только начиналось.

Вскоре и город, и окрестности накрыла душная тьма, грохочущая разрывами. Было страшно, но не за себя, а за детей. Не станет ее, убьют — что с ними будет? Как они будут жить воспитанные, вежливые, робкие? Останутся одни, без денег, без мало-мальски теплых, не говоря о зимних, вещей, они же приехали в отпуск. И без обуви — с нею особенно туго.

С безумной надеждой она все еще вслушивалась в разговоры, жаждала привычных успокаивающих речей — первое-то время они звучали. Многие люди, особенно те, что в возрасте, которым более

всего доверяешь, уверяли, что это ненадолго, что немцы — это не страшно, вы просто не помните, а вот в прошлую войну они приходили по-европейски культурно. Потом поползли такие слухи, от которых все умиротворяющие рты закрылись.

И вот прозвучало дикое слово «эвакуация». Скомандовали подниматься и грузиться. Она попыталась настоять на том, чтобы вернуться в Москву, ее подняли на смех: да молчите вы! Повезете детей волкам в пасть? Куда отправят — туда и отправитесь.

Куда, зачем? — никто не отвечал.

Тащились невесты куда как были, в летних платьицах и шортах, совершенно покоровшись судьбе. Сначала ехали в переполненных вагонах пассажирских поездов, потом, когда попутчиков стало еще больше, их перекинули в теплушки, уже забитые предыдущими эвакуирующимися. Потом кончились и рельсы, и транспорт, и вообще дороги. Они пошли пешком, когда везло — ехали на попутных грузовиках.

Еды не оставалось совсем, приходилось попрошайничать — ничего, подавали. Идочка сначала смущалась, потом привыкла, Сима сперва краснел и отказывался есть, но потом голод сделал свое дело, начал есть, еще как.

Пошли дожди. Добрались до какой-то станции, узловой, судя по всему. Эшелонов было много, но все забиты людьми, они висели на выступах, не-

возможно было не то что ногу поставить — рукой зацепиться. Но она уже закалилась: ногтями, зубами, криком добыла детям место на крыше. Так проехали еще и еще.

Справедливости ради надо сказать: чем дальше отъезжали, тем спокойней становилось. Уже где-то у черта на куличках местная сердобольная бабка ужаснулась: «Батюшки, вы откуда такие?!» — и почему-то сама, без просьб, снабдила чем было — потрепанными домоткаными юбками, штанами такими, что в Москве не каждый старьевщик решился бы их надеть. И все-таки стало теплее. Вот только с обувью случился полный швах, ее у местных не было. Им с дочкой нашлись опорки, на их небольшие ножки, а сын, с его огромными, как у отца, лапами, страдал. Кто-то из попутчиков пожертвовал старое одеяло, его разрезали и наматывали на ноги, на манер портянок — как это делается, показал какой-то дед.

Очнулись, а на дворе аж Омск. Она, вспомнив карту Союза, ужаснулась: как же они отсюда выбираться-то будут?! И мысли не было о том, что будет кому выбираться.

К тому же повезло, им выделили в общежитии целую комнатку на две с половиной койки. Дети, ангельски тихие, привыкшие ко всему, были и тому рады, что не трясет, не стучат колеса, да и не дует.

Она первое время думала лишь о том, чтобы было тепло — тепло и было, даже душно. Централь-

ного парового отопления нет, горькой гарью тянуло от буржеек, диким керосином — от примусов. И все-таки тепло, и это очень, очень хорошо, ведь уже осень, ужасная, холодная.

Вот с едой было плохо. И по-прежнему от мужа ни весточки.

Она попыталась устроиться на работу по специальности, но царил дикая неразбериха, таких, как она, учительниц, было пруд пруди. Сердобольный старикан, с которым случайно разговорились, которого, по его словам, перебрали уже на столичный, тоже эвакуированный, завод, пособил, их приписали к столовой для сотрудников этого предприятия. Потом, чуть позже, он принес еще партию ватина, из которого она с грехом пополам пошила детям подобия телогреек.

Но теплой обуви по-прежнему не было.

Выпал снег, ударил мороз, случилось страшное: заболел младший. Он ходил за хлебом, думая помочь маме, и что-то случилось, чего-то испугался, побежал, потерял свои обмотки и босым пришел домой. Поднялась высоченная температура. Целыми днями сын плакал, потом, сорвав голос, лишь покрикивал, пронзительно, со рвотой, метался в корчах, запрокидывая голову чуть не к лопаткам... Она пыталась размять затекшую тонкую шейку, но сын только кричал, дергая руками и ногами.

Менингит, сказала одна знающая женщина, небось схватился грязными руками за глаза. Даже если выживет — слепой останется.

Потянулись страшные, сумеречные дни — он кричал на любой свет. Мать уже забыла, когда спала. Последнюю дорогую вещь — обручальное кольцо — продала за копейки, пригласила некоего местного чудо-доктора. Тот пришел, послушал, поправил очки, никаких надежд не дал. Ждите, мол, кризиса. Как должен был выглядеть этот кризис?

Сын уже не приходил в сознание, метался, раскрывался, а она, как сумасшедшая, как заведенная, все терла и терла его красные ноги кем-то пожертвованным спиртом, разведенным с горчицей. Как будто трением пыталась добыть все сильного джинна, который всех спасет.

Она сама уже впадала в забытие, и тогда Идочка, придя со смены — и она трудилась, бедная, которая раньше и веник в глаза не видела, — оттаскивала ее на койку.

Как-то привиделось жуткое. Вроде бы Олений пруд, но на берегу — черные, точно обугленные, сосны, и сам берег не зеленый, а засыпан белым, как пепел, песком. Ужасно хочется пить, но что-то не пускает к кромке. Не идет. Ноги босые, свинцовые, еле передвигаются, вязнут в песке, а он ледяной! И в ноздри бьет какое-то тревожащее, липкое тепло, которое никак не может исходить от водоема. Ногам очень холодно, голове — жарко,

очень хочется пить, и она все бредет, бредет — вот уж совсем близко вода, а над ней курится странный красноватый туман. Она кидается ничком, окунает лицо в воду — и пусть это не вода, а кровь, густая, пахучая, но как же пить охота...

Сделала она глоток или нет — неясно, из кошмара вырвал тихий возглас дочки и зов сына:

— Мама! — испуганный, но осознанный, крепкий голос.

Она вздрогнула, проснулась, сердце колотилось около горла. Идочка, с вытаращенными глазами, руки у рта, сидела на табуретке, как на жердочке, почему-то поджав ноги. И сынок сидел — сидел! — на кровати, в полном сознании. И пусть глазик один раскосенький был мутный, как свернувшийся белок, но второй, хотя и запавший, смотрел осмысленно, ясно.

— Мама, можно хлебушка?

Она зарыдала от счастья.

Пришедший «профессор» флегматично констатировал:

— Зрения на одном глазу нет. Но кризис миновал. Теперь все будет хорошо, главное — ноги держать в тепле.

В мозгу тотчас отозвалось эхом: «В тепле...» Хорошо ему толковать, чудо-доктору, в очках, пальто и теплых сапогах. Где же взять это тепло?

Прошлась по соседям — те лишь руками разводили: нет лишних, да еще Симочкиного размера.

На местном базаре разной обуви хватает, но у нее совершенно ничего нет — ни денег, ни украшений, ни даже лишней снеди на обмен не было. Подумала было о самом гнусном — но зеркало убедительно показало, что этот путь ей заказан: ни былой, ни какой-то иной красы и в помине не было. За это валенок не выручишь, а позора — сколько угодно. Как бы с квартиры не попросили.

Тут она глянула на часы и переполошилась. Пора бежать на смену.

Чудом удалось добыть работу в местном кино-театре — вот и пригодился ее «talant» махать лопатой, взяли на место запойного инвалида-кочегара.

Дочка, все еще какая-то испуганная, но уже постепенно оживающая, синяя от бессонницы, пролепетала:

— Я посижу с Симочкой, не волнуйся.

Ангелы, белокурые ангелы! Жаль, что, в отличие от настоящих, им нужны и кусок хлеба, и одежда, и на ноги что-нибудь... «Кому молиться, кому жертву принести, чтобы вот тут, в углу, появились хоть какие-нибудь валеночки?!» Супруг так любил, когда она ходила в ма-а-аленьких туфельках, с бантиками, а теперь извольте натянуть на покрасневшие, начинающие пухнуть ступни разваливающиеся опорки, перемотанные проволокой да остатками одеяла, и бежать по жгучему снегу на работу за два квартала.